

Ганс Гейнц Эверс Казнь Дамьена

Они сидели в вестибюле «Спа-отеля», развалившись в кожаных креслах, и курили. В соседнем зале танцевали, и до них доносились звуки музыки.

Эрхард достал часы и зевнул.

– Довольно поздно, – сказал он, – пора бы им уже закончить.

В этот момент к ним подошел молодой барон Грендель.

– Я помолвлен, господа! – возвестил он.

– С Эвелин Кетчендорф? – спросил толстый доктор Гандль. – Вам потребовалось на это совсем немного времени.

– Поздравляю, кузен! – воскликнул Аттемс. – Отправь телеграмму матери.

Но Бринкен сказал:

– Осторожно, мой мальчик! У нее эти типично английские, плотно сжатые, сдержанные губы.

Красавец Грендель кивнул:

– Ее мать была англичанкой.

– Я так и думал, – сказал Бринкен. – Будьте осторожным, мой мальчик!

Но барон не слушал. Он поставил на стол бокал и побежал танцевать.

– Вы не любите англичанок? – спросил Эрхард.

Доктор Гандль захохотал:

– Разве вы не знаете? Он терпеть не может женщин с происхождением и положением в обществе, в особенности англичанок! Его расположением пользуются лишь толстые, глупые, молчаливые женщины – коровы и гусыни.

– *Aimer une femme intelligente est un plaisir de pederaste!* <Любить умную женщину – удовольствие для педераста, фр.> – процитировал граф Аттемс.

Бринкен пожал плечами.

– Может, это и так, я не знаю. Но было бы неверно утверждать, что я ненавижу умных женщин; если ум – их единственное положительное качество, то они могут мне даже понравиться. В любовных делах я боюсь тех женщин, у которых есть душа, чувства, воображение. Коровы и гусыни – почтенные животные: они едят зерно и сено и не питаются своими собратьями. – Присутствующие молчали, и он продолжил:

– Если вы хотите, я поясню свою мысль. Сегодня рано утром, когда солнце только всходило, я прогуливался по Валь Мадонна и увидел пару изнывающих от любви змей, двух толстых гадюк синевато-стального цвета. Каждая из них была полтора метра длиной. Они скользили между камнями, уползали, возвращались, шипели друг на друга. Потом переплелись и, крепко обнявшись и встав вертикально, принялись раскачиваться на своих хвостах. Их головы прижимались друг к другу, пасти были раскрыты, а раздвоенные язычки раз за разом стремительно выстреливали в воздух! О, нет ничего прекрасней этой брачной игры! Их отливавшие золотом глаза сверкали, и мне казалось, будто на головах у них красовались сияющие короны!

Потом, обессилев от этой игры, они упали на землю в разные стороны и остались лежать, согреваемые солнцем. Самка вскоре пришла в себя. Она медленно подползла к своему смертельно уставшему жениху, схватила его, абсолютно беспомощного, за голову и принялась его поглощать. Задышавшись, она бесконечно медленно, миллиметр за миллиметром, заглатывала своего супруга. Это было ужасно: все мускулы ее тела напряглись в усилии проглотить животное, большее, чем она сама. Казалось, что ее челюсти не выдержат и выскочат. С каждым рывком тело ее мужа все больше и больше исчезало в пасти. Наконец, остался торчать лишь кончик хвоста длиной с человеческую ладонь: продвинуться дальше он просто не мог. А она лежала на земле, распухшая, отвратительная, неспособная даже

пошевелинуться.

– Поблизости не было палки или камня? – вскричал доктор Гандль.

– А зачем? – сказал Бринкен. – Разве я имел право наказывать ее? Природа, в конце концов, работа дьявола, а не бога – это говорил еще Аристотель. Нет, я схватил кончик хвоста, торчавший у нее из пасти, и вытащил незадачливого возлюбленного из чрева его прожорливого идола. После этого они еще полчаса лежали рядышком на солнце. Хотел бы я знать, о чем они думали все это время. Потом они поползли в кустарник, причем в разные стороны: он – налево, она – направо. Даже змея не позволит себе съесть собственного супруга во второй раз. Но этот бедняга после случившегося будет возможно, осторожнее.

– Тут нет ничего необычного, – сказал Эрхард. – Самка паука всегда пожирает самца после совокупления.

Бринкен продолжил:

– *Mantis religiosa*, богомол, даже не дожидается конца. Вы можете увидеть такое здесь на острове в Адриатическом море, в любое время и на каждом шагу. Она ловко выворачивает шею, хватает ужасными клешнями голову своего возлюбленного, сидящего на ней, и потихоньку начинает поглощать его – в самой середине совокупления. Ни в одной области, господа, человечество так не приближается к животным, как в своей сексуальной жизни. И я лично не нуждаюсь в сентиментальных излияниях даже самой красивой из гурий, которая впоследствии внезапно оказывается змеей, пауком или богомол.

– Я еще не встречал ни одной такой! – заметил доктор Гандль.

– Это вовсе не значит, что вы не повстречаетесь с ней завтра, – ответил Бринкен. – Взгляните на анатомическую коллекцию любого из университетов; там вы найдете самые невероятные комбинации атавистических уродств, такие, до которых не смог бы додуматься обычный человек, даже если бы напряг всю свою фантазию. Вы найдете там целое животное царство в человеческом обличье. Многие из таких существ живут семь лет, двенадцать и даже больше. Рождаются дети с заячьей губой, с небом из двух частей, с клыками, с пороссячими головами, дети с перепонками между пальцами рук и ног, с лягушачьими ртами, головами или глазами, дети с рогами на голове, но не оленьими, а похожими на клещи жука-оленя, вы можете повстречаться с этими чудовищными атавизмами на каждом шагу, и разве стоит удивляться тому, что отдельные черты того или иного животного могут быть повторены в человеческой психике?

Когда кругом столь много подобных атавизмов, разве можно поражаться тому, что в некоторых человеческих душах ярко выражены признаки отдельных животных? Это же замечательно, что мы не встречаемся с этим чаще, к тому же, люди не очень-то охотно говорят об этом. Вы можете долгие годы близко общаться с какой-нибудь семьей, не зная, что один из сыновей – полный кретин, упрятанный в соответствующее заведение.

– Согласен! – сказал Эрхард. – И все же вы не объяснили нам, почему имеете зуб на женщин. Скажите, кто был вашим богомол?

– Мой богомол, – сказал Бринкен, – каждое утро и каждый вечер молился богу и даже склонил к этому меня. Не смейтесь, граф, все было так, как я говорю. Мой богомол каждое воскресенье дважды ходил в церковь и каждый день – в часовню. Три раза в неделю он навещал бедных. Мой богомол... – он резко оборвал себя, разбавив виски и вывил.

Потом он продолжил:

«Тогда мне было всего восемнадцать, я заканчивал школу, и это были мои первые каникулы. Когда я учился в школе и в университете, моя мать всегда отправляла меня на каникулы за границу: ей казалось это полезным для моего образования. Я проводил время в Англии в Дувре, со своим учителем и отчаянно скучал. Случайно я познакомился с сэром Оливером Бингемом, мужчиной лет сорока, и он пригласил меня погостить у него в Девоншире. Я сразу согласился и через несколько дней был уже у него. Бингем-Кастл великолепная сельская усадьба – принадлежала этой фамилии более четырехсот лет. Там был большой, хорошо ухоженный парк с площадками для игры в гольф и теннисными кортами. Через поместье протекала небольшая речка, на берегу которой лежали лодки. В

конюшне стояло две дюжины лошадей для верховой езды. Все это было в распоряжении гостей. Тогда я впервые познакомился со щедрым английским гостеприимством. Моя юношеская радость была безграничной.

Леди Синтия была второй женой сэра Оливера. Два его сына от первого брака учились в Итоне. Я сразу понял, что леди Синтия была его женой лишь формально. Сэр Оливер и она жили отдельно, как абсолютно чужие люди. Их ничто не объединяло, кроме, пожалуй, изысканной и неестественной вежливости, которая, впрочем, не была принудительной. Им обоим помогала врожденная и усовершенствованная с годами способность к компромиссам.

Гораздо позже я понял, что сэр Оливер, прежде чем представить своей жене, намеревался меня предостеречь. Тогда я просто этого не заметил. Он сказал: „Послушай, мой мальчик! Ты понимаешь, леди Синтия... Будь осторожен!“ Он не мог открыто сказать мне то, что думал, и тогда я его не понял.

Сэр Оливер был старым английским помещиком, таким, какого вы можете найти в доброй сотне английских романов:

Итон, Оксфорд, спорт и немного политики. Он находил удовольствие в сельской жизни, любил свое поместье и был способным фермером. В Бингем-Кастле его обожали все без исключения: мужчины, и женщины. Смуглый блондин крепкого телосложения, с отменным здоровьем и открытым сердцем, он отвечал взаимностью всем окружающим, демонстрируя им свою простую, деревенскую любовь, в особенности к молоденьким служанкам, причем здесь он не был особенно разборчив. Все это было настолько очевидным, что лишь одна леди Синтия, казалось, не замечала этого.

Его откровенная неверность своей жене просто убивала меня. Если на земле и была женщина, которая заслуживала слепой, всепоглощающей любви мужчины, то это была леди Синтия. И поэтому многочисленные измены сэра Оливера казались мне еще более вероломными и омерзительными.

Ей было около двадцати семи лет. Если бы во времена Ренессанса она жила в Риме или в Венеции, ее портреты можно было бы увидеть сейчас не в одной церкви. Я никогда не встречал другой женщины, которая была бы столь поразительна похожа на мадонну. У нее были золотистые темные волосы, разделенные посередине пробором, лицо имело замечательные, правильные черты. Глаза, глубокие, как море, казались мне аметистовой мечтой: а длинные, тонкие руки отличались такой белизной, что едва не просвечивались; ее шея – ах, мне казалось, что ее шея вообще делала эту женщину неземной. Шаги были так легки, что их невозможно было услышать. Казалось, что она не ходит, как все, а плывет. Неудивительно, что я влюбился. Я написал дюжину сонетов: первые – на немецком, потом – на английском. Вероятно, они были очень слабыми, но если бы вы прочитали их сейчас, то смогли бы представить себе необыкновенную красоту леди Синтии и состояние моей душе.

И эту женщину постоянно обманывал сэр Оливер, даже не стараясь хоть как-то скрывать это. Естественно, подобное поведение могло вызывать у меня лишь неприязнь к нему, с которой я ничего не мог поделать. Он заметил это и раз или два пытался заговорить со мной, но не мог найти подходящего предложения.

Я никогда не видел, чтобы леди Синтия смеялась или плакала. Она была необыкновенно тихой и напоминала тень, неслышно скользящую по коридорам замка ж парка. Она не ездила верхом, не играла в гольф, не увлекалась никаким видом спорта. Не занималась она и домашним хозяйством – это было предоставлено старому дворецкому. Но, как я уже сказал, она была очень набожна – регулярно ходила в церковь и посещала бедняков из трех деревень. Всякий раз, прежде чем сесть за стол, она произносила молитву. Каждое утро и каждый вечер она ходила в часовню замка, становилась на колени и молилась. Я никогда не видел, чтобы она читала газету, и лишь несколько раз замечал у нее руках книгу. Правда, она много времени уделяла вышиванию, и у нее получались великолепные кружева и кайма. Иногда она садилась за рояль или играла на органе в часовне. Держа иглу в руках, она часто тихо напевала, и почти всегда это была какая-нибудь простая мелодия. Прошло много лет, прежде чем я понял абсурдность того, что эта женщина, у которой никогда не

было детей, любила петь колыбельные песни. Тоща же я относил это на счет ее задумчивого, мечтательного состояния, и это даже меня очаровывало.

Наши отношения установились с первого же дня: она была госпожой, а я – ее послушным пажем, безнадежно влюбленным, но безупречно себя ведущим. Иногда она разрешала почитать мне вслух романы Вальтера Скотта. Она терпела мое присутствие рядом с собой, когда играла или шила, и часто пела для меня. За обедом я обычно сидел рядом с ней. Так как сэр Оливер часто уезжал из имения, мы нередко оставались наедине. Ее сентиментальность постепенно передалась мне. Казалось, что она постоянно о чем-то грустила, и я считал своим долгом грустить вместе-с ней.

По вечерам она стояла у окна своей комнаты в башне замка, а я любовался ею из парка. Несколько раз я заходил в комнату, но юношеская застенчивость не позволяла мне заговорить с ней. На цыпочках я спускался по лестнице обратно в сад, прятался за деревом и страстным взглядом смотрел на окно из своего убежища. Она подолгу стояла так, не двигаясь. Часто она сжимала руки, по всему ее лицу пробегала дрожь, но задумчивые аметистовые глаза по-прежнему оставались неподвижными. Казалось, она ничего не видела перед собой, взгляд ее лишь рассеянно скользил над деревьями и кустами.

Однажды вечером я ужинал с ней. Мы долго беседовали, а потом пошли в комнату, где стоял рояль. Она поиграла для меня, но не музыка вызывала во мне трепет. Я смотрел на ее белые ладони, на ее пальцы, казавшиеся мне божественными. Закончив играть, она повернулась ко мне. Я схватил ее ладонь и стал целовать кончики пальцев. В этот момент вошел сэр Оливер. Леди Синтия, как обычно, вежливо пожелала ему спокойной ночи и вышла.

Сэр Оливер заметил мое движение, увидел мои взволнованные глаза, которые, казалось, кричали о том, что было у меня на душе. Он прошелся по комнате широкими шагами, подавляя желание крепко выругаться. Потом подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал:

– Ради бога, будьте осторожны, мой мальчик! Я говорю вам, нет, я прошу, я умоляю вас: будьте осторожны. Вы... В этот момент в комнату вошла леди Синтия, чтобы забрать кольца, которые она оставила на рояле. Сэр Оливер резко оборвал свою речь, крепко сжал мою руку, поклонился жене и вышел. Леди Синтия приблизилась ко мне и стала одевать кольца на руки. Потом она протянула мне их для поцелуя. Она не сказала ни слова, но я чувствовал, что это был приказ. Я нагнулся и покрыл ее ладони горячими поцелуями. Она позволила удерживать ее руки довольно долго, потом высвободила их и вышла из комнаты.

Я чувствовал, что ужасно нехорошо поступаю по отношению к сэру Оливеру, и был готов ему все рассказать. Мне показалось, что лучше всего сделать это в форме письма. Я пошел в свою комнату и, сев за стол, написал одно, два, три письма, каждое из которых было еще глупее предыдущего. В конце концов, я решился на разговор и отправился к сэру Оливеру. Чтобы не лишиться храбрости, я взбежал вверх по лестнице так быстро как только мог. Перед распахнутой настежь дверью курительной я вдруг остановился как вкопанный. Из комнаты раздавались голоса: первый принадлежал сэру Оливеру, он весело и громко смеялся, а второй голос был женским.

– Но, сэр Оливер... – говорила женщина.

– Ну, ну не будь глупенькой, – смеялся он, – не волнуйся. – Это был голос Миллисент, одной из горничных.

Я повернулся и стал медленно спускаться вниз по лестнице. Через два дня сэр Оливер уехал в Лондон. Мы с леди Синтией остались в Бингем-Кастле одни. Трудно описать то дивное царство грез, в котором я жил. Я попытался выразить свои чувства в письме к матери. Когда я вернулся домой несколько месяцев спустя, она показала мне это письмо, которое надежно сберегла. На конверте было написано: «Я ужасно счастлив!», а само письмо представляло неудержимый поток чувств. «Дорогая мамочка, ты спрашиваешь, как я поживаю, что делаю? О, мамочка, мамочка, мамочка!» и еще раз это «О, мамочка!». И больше ничего.

Этими словами, конечно же, можно выразить как глубочайшую боль и сильнейшее отчаяние, так и бешеный восторг. Но в любом случае это должно было быть что-то очень сильное! Я заметил время, когда леди Синтия рано утром ходила в часовню, расположенную недалеко от замка, у реки. Я ждал, пока она выйдет из часовни, и мы вместе шли к завтраку. Однажды утром она сделала мне знак, и я понял ее, хотя она не произнесла ни слова. Вслед за ней я вошел в часовню. Она встала на колени, я сделал то же самое. С этого времени мы вместе ходили на утреннюю молитву. Сначала я лишь смотрел на нее, но постепенно стал делать то, что и она, – молиться. Только представьте себе, господи, я, немецкий студент и, конечно, атеист, – и молюсь! Не знаю, что я там шептал и кому молился. Это было что-то вроде благодарности небу за счастье видеть эту женщину, сопровождаемой потоком страстных излияний, смысл которых сводился к одному: я хотел ее.

Много времени я посвящал верховой езде. Скорее всего, моя горячая кровь требовала какого-то выхода энергии. Однажды, выехав довольно рано, я заблудился, и мне пришлось провести в седле много часов. Когда я, наконец, подъехал к замку, разразилась ужасная гроза и начался настоящий ливень. Деревянный мостик смыло водой. Чтобы добраться до ближайшего каменного моста, мне пришлось бы сделать большой крюк. Я и так весь промок, поэтому храбро въехал в стремительный поток. Однако я значительно переоценил силу своей измотанной кобылы, и течение отнесло меня вниз на порядочное расстояние.

Леди Синтия уже ждала меня в гостиной, поэтому я поспешил принять ванну и переодеться. Вероятно я выглядел немного уставшим. Во всяком случае, она настояла на том, чтобы я прилег на диван. Сев рядом со мной, она погладила мой лоб и запела:

В ней лежит малыш мой на высоком дереве.
Раскачаешь люльку, обломится ветка,
Упадет малыш мой, и пойдет все прахом.

Она гладила мой лоб и пела. Мне представилось, будто я лежал в какой-то волшебной люльке, висевшей высоко на суку дерева. Пел и выл ветер, и моя колыбелька качалась от его порывов. Только бы сук не обломился! Я задумался.

Итак, господи, мой сук обломился, и я упал, причем очень неудачно.

Леди Синтия всегда позволяла мне целовать ее руки – но только руки! Мысль о ее плечах, о ее лбе заставляла меня дрожать всем телом. О! О губах я и думать не смел. Я никогда не говорил ей об этом, но мои глаза предлагали ей сердце и душу – все, все, что у меня было, – в любой день и час. Она брала все это, в ответ давала руки.

Иногда поздними вечерами, когда я сидел с ней, моя кровь вскипала в жилах и искала себе выход, она вставала и тихо говорила: «А сейчас идите и покатайтесь верхом». Она шла в свою комнату в башне, а я тихо следовал за ней. Она брала в руку небольшую книгу в парчовом переплете, читала ее несколько минут, потом вставала, подходила к окну и смотрела в темноту. А я шел в конюшню, седлал лошадь, мчался через парк, а потом – в поля. Там в сумерках я гонял свою лошадь как сумасшедший. Возвратившись, принимал холодную ванну и немного отдыхал перед ужином.

Однажды я отправился на подобную прогулку несколько раньше обычного и возвратился в дом как раз к чаю. Я встретился с леди Синтией в холле, когда шел принять ванну.

– Когда будете готовы, – сказала она, – приходите, в башне вас ждет чай.

На мне было кимоно.

– Мне нужно одеться, – ответил я.

– Приходите так, как есть.

Я забрался в ванну, включил душ и через несколько минут уже был готов и направился в ее комнату. Она сидела на диване с книжкой в руке, которую отложила в сторону, когда я вошел. Она, как и я, была в халате – чудесном кимоно пурпурного цвета, расшитом золотыми цветами. Она налила мне чаю и сделала бутерброд. Я проглотил хлеб, быстро

выпил горячий чай. Все мои члены тряслись. Наконец, из моих глаз полились слезы. Я опустился на пол, взял ее за руки и прижался головой к ее коленям. Она не отстранила меня. Потом встала.

– Вы можете сделать все, что хотите, – все. Но вы не должны говорить ни слова. Ни слова, слышите, ни слова!

Я не понял, что она имела в виду, но встал и кивнул головой. Медленно она подошла к узкому окну. Я не мог взять в толк, что мне делать и в конце концов молча приблизился к ней.

Я стоял в нерешительности, не шевелясь, слушая ее легкое дыхание. Потом медленно нагнулся к ней и коснулся губами шеи. О, это прикосновение было таким нежным: так не смогла бы ее поцеловать даже бабочка. По всему ее телу пробежал легкий трепет – она почувствовала этот поцелуй. Я целовал ее плечи, ее приятно пахнувшие духами водоем, ее милые уши – очень нежно, очень мягко, смущенно, по-мальчишески. Мои пальцы искали ее руки и ласкали их. С ее губ сорвался вздох и растворился в вечернем воздухе. У меня перед глазами стояли высокие деревья, я слышал пение позднего соловья.

Я закрыл глаза. Нас не разделяло ничего, кроме небольшого куска шелка. Я глубоко дышал и слышал ее дыхание. Ее тело пылало огнем. Она схватила мои руки и прижала их к своей груди. Не помню, как долго я держал ее так. Ее тело ослабло, казалось, она сейчас упадет в обморок. Петом она взяла себя в руки и тихо сказала:

– Уходите.

Я тут же отпустил ее и на цыпочках вышел из комнаты.

В тот вечер я больше ее не видел, и мне пришлось ужинать в одиночестве. Что-то произошло, но я не знал что. Тогда я был очень молод.

На следующее утро я ждал ее у часовни. Леди Синтия, входя в нее, кивнула мне. Она преклонила колени и принялась молиться, как делала это каждое утро.

А через несколько дней она снова сказала: «Приходите вечером!» И при этом не забыла добавить: «Вы не должны говорить ни слова!»

Мне было восемнадцать лет, и я был очень неопытным и неловким. Но леди Синтия была женщиной умудренной жизнью, и все происходило так, как ей хотелось. Она не говорила ни слова. Молчал и я. Разговаривала наша кровь. Сэр Оливер вернулся из поездки, когда мы с леди Синтией ужинали. Когда я услышал в коридоре его голос, мое лицо стало блее скатерти. Это был не страх – нет, конечно же, не страх! Просто я к тому времени забыл, что в мире существует этот человек – сэр Оливер!

В тот вечер сэр Оливер был в хорошем настроении. Конечно, он заметил мое смущение, но не выдал этого ни малейшим жестом. Он ел, пил, говорил о Лондоне, рассказывал о театрах и лошадях. После ужина он извинился, похлопал меня по плечу и, как всегда, вежливо пожелал своей жене спокойной ночи. И все-таки он выдержал небольшую паузу, как бы выжидая, что я буду делать. Я не знал, что предпринять, поэтому пробормотал, что устал, поцеловал руки леди Синтии и вышел. Всю ночь я не сомкнул глаз. Меня преследовала мысль, что сэр Оливер обязательно придет ко мне. Я настораживался при каждом шаге, раздававшемся в замке, уверенный, что это сэр Оливер. Но он все не приходил. Тогда я разделся, лег в постель и стал размышлять, что произошло за время его отсутствия и что же будет дальше.

Одно казалось ясным: я должен все ему рассказать, должен предоставить себя в его распоряжение. Но к чему это приведет? Я знал, что дуэли в Англии уже не практикуются, и что си просто высмеет меня, даже если я только упомяну об этом. Но тогда что еще? Неужели он потащит меня в Суд чести? Он меня? Это было бы еще более смехотворным, да и, конечно, не принесло бы ему удовлетворения. Кулачный бой? Он гораздо крупнее, шире и сильнее меня и являлся одним из лучших боксеров-любителей в Англии. Я же не имел ни малейшего представления об этом виде спорта. Той малости, которую я знал, он обучил меня сам. И тем не менее я был просто обязан дать ему возможность бросить мне вызов, а там будь что будет.

Но потом я подумал, не будет ли это предательством по отношению к леди Синтии. Пусть он покалечит меня! Но она, милая, святая женщина... Что будет с вей? Ведь она ни в чем не виновата. Вся вина лежала лишь на мне, на мне одном, и каждая моя клеточка прониклась этим чувством вины. Я приехали ее дом... С первого взгляда влюбился в нее, преследовал, караулил, ходил за ней по пятам. Не удовлетворяясь тем, что она давала мне свои белые руки, я хотел ее больше и больше, моя страсть становилась сильнее и сильнее, пока...

Это правда, я с ней не разговаривал. Но разве моя кровь не кричала каждый час о любви к ней? Зачем нужны были слова, когда пели мои глаза, когда мое тело трепетало при одном ее виде? Ее, грубо отвергнутую мужем, предавали и оскорбляли каждый день на моих глазах, а она страдала и переносила эти муки, как святая, – о, нет, на ней не было и тени вины! Чудом она поддавалась искушению, которое приготовил для нее соблазнитель, следовавший за ней по пятам. Но даже тоща, даже тоща она оставалась святой! Она пошла на это скорее из собственного великодушия, из жалости к юнцу, которого пожирало чувство к ней. И она так стыдилась этого, что запрещала мне разговаривать с ней в минуты близости. Она ни разу не обернулась ко мне, ни разу не заглянула мне в глаза...

И я понял все. Виноват был лишь я один. Я был соблазнителем, грязным подлецом. И сейчас я должен довершить свое гнусное дело, пойдя к сэру Оливеру и все ему рассказав, – нет, нет! Но я должен что-то предпринять! Я не знал, что делать. Прошла целая ночь, а выхода я так и не нашел!

Завтракал я в своей комнате. Потом пришел дворецкий: сэр Оливер спрашивал, не желаю ли я сыграть с ним в гольф. Я кивнул, оделся, спустился вниз и вышел на улицу. Я никогда хорошо не играл, но в этот раз вообще не мог попасть по мячу, лишь вспахивал перед ним дерн.

Сэр Оливер смеялся.

– Что произошло? – спросил он. Я ответил что-то. Мои удары становились все хуже, и он посерьезнел.

Вдруг он подошел ко мне и спросил:

– Вы... вы были у окна, юноша? Дело зашло слишком далеко. Я выронил из рук клюшку. Он мог убить меня своей иронией. Я кивнул.

– Да, – сказал я бесцветным голосом. Сэр Оливер присвистнул. Он попытался что-то сказать, но промолчал. Потом он опять свистнул, повернулся и медленно пошел к замку. Я шел за ним, соблюдая некоторую дистанцию. В то утро я не вздел леди Снятию. Когда раздался звонок, приглашавший к ланчу, я заставил себя спуститься вниз. В дверях столовой меня встретил сэр Оливер. Он подошел ко мне и сказал:

– Мне не хочется, чтобы вы разговаривали сегодня с леди Синтией наедине.

Потом он жестом пригласил меня войти.

Во время ленча я почти не разговаривал с ней. Нить беседы была в руках сэра Оливера. После ленча леди Синтия приказала приготовить для нее экипаж: она ехала к бедным. Она дала мне свою руку, которую я поцеловал, и сказала:

– Чай в пять часов!

Возвратилась она не раньше шести; я стоял у окна в своей комнате, когда увидел подъезжающий экипаж. Она посмотрела на меня. «Приходите», – говорил ее взгляд. В дверях я встретил сэра Оливера.

– Моя жена вернулась, – сказал он, – сейчас мы будем все вместе пить чай.

«Ну, вот, кажется, приближается», – подумал я.

На столике стояло лишь две чашки. Было очевидно, что леди Синтия ждала только меня. Приход мужа был для нее неожиданностью, но она сразу же позвонила и приказала принести еще одну чашку. Сэр Оливер снова попытался вести беседу, но на этот раз его усилия не увенчались успехом. В итоге все замолчали.

Леди Синтия вышла из комнаты. Сэр Оливер ничего не сказал, продолжая молча сидеть и тихо посвистывать сквозь зубы. Вдруг он подскочил, как будто в голову ему пришла

какая-то неожиданная идея.

– Пожалуйста, обождите меня! – воскликнул он и выбежал из комнаты.

Мне не пришлось долго ждать: через несколько минут он возвратился и жестом предложил следовать за ним. Мы прошли через несколько покоев, пока не добрались до той самой комнатки в башне. Сэр Оливер задвинул портьеру и оглядел комнату. Потом он повернулся ко мне и сказал:

– Подайте-ка мне ту книгу, что лежит на табуретке.

Я проскользнул за портьеру, – у окна стояла леди Синтия. Я чувствовал, что совершаю предательство, но никак не мог понять, в чем именно оно заключалось. Тихо подкравшись к табуретке, я ваял маленькую книгу в парчовом переплете, которую так часто видел у нее в руках, и передал книгу сэру Оливеру. Он взял ее, тронул меня за руку и прошептал:

– Идемте, мой мальчик!

Я последовал за ним вниз по ступенькам, через двор в парк. Сжимая книгу, он схватил меня за руку и начал:

– Вы любите ее? Очень сально? Очень сильно, мой мальчик? – он не ждал ответа. – Не нужно слов! Я тоже любил ее н, может, даже сильнее, чем вы. Я был в два раза старше вас. Я говорю вам все это не ради леди Синтии – ради вас самих!

Он замолчал, повел меня по аллее и потом свернул налево, на небольшую тропинку. Под старыми вязами стояла скамейка. Он опустился на нее и движением руки предложил мне сесть рядом с ним, потом поднял руку и указал вверх:

– Взгляните! Бон она стоит. Я поднял голову и посмотрел гуда, куда он указывал. В окне стояла леди Синтия.

– Ода заметит нас, – сказал я.

Сэр Оливер громко рассмеялся.

– Нет, она нас не заметит. Даже если бы здесь сидела целая сотня людей, она бы ничего не увидела и не услышала! Она видит лишь эту книгу, она слышит ее и больше ничего! Он сжал своими сильными руками томик так, будто хотел его раздавить, и сунул книгу мне в руки.

– Жестоко показывать ее вам, мой бедный мальчик, очень жестоко, я знаю. Но я должен сделать это ради вас. Читайте!

Я открыл книгу. В ней было всего несколько страниц из плотной, самодельной бумаги. Текст был не отпечатан, а написан от руки, и я узнал почерк леди Синтии.

Я прочитал:

«КАЗНЬ РОБЕРА ФРАНСУА ДАМЬЕНА
НА ГРЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПАРИЖЕ
28 МАЯ, 1757 ГОДА
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОЧЕВИДЦА ГЕРЦОГА ДЕ КРУА»

Буквы запрыгали у меня перед глазами. Какое, какое отношение это имело к женщине, стоявшей у окна? Я не мог разобрать ни слова. Книга выпала у меня из рук. Сэр Оливер поднял ее и стал читать громким голосом: «По свидетельству очевидца герцога де Круа...»

Я встал. Что-то заставило меня сделать это. Мне захотелось улететь, спрятаться, как раненому зверю, в густом кустарнике, но сильная рука сэра Оливера удержала меня. Безжалостный голос продолжал звучать у меня в ушах:

«Робер Дамьен, который 5 января 1757 года в Версале совершил покушение на жизнь Его Августейшего Величества Короля Франции Людовика XV и нанес ему кинжалом рану в левый бок, был приговорен во искупление своей вины к казни в день 28 мая 1757 года.

Ему был вынесен такой же приговор, что и убийце короля Генриха IV Франсуа Равальяку 17 мая 1610 года.

Утром в день казни Дамьена вздернули на дыбу. С его рук, бедер и икр раскаленными докрасна крючьями содрали кожу и стали лить в раны расплавленный свинец, кипящее масло и горящую смолу, перемешанную с воском и серой. В три часа дня преступника,

который отличался отменным телосложением, доставили в Нотрдамский собор, а оттуда на Гревскую площадь. Улицы были забиты толпой, которая ни поддерживала, ни осуждала преступника. Аристократия, разодетая, как на праздник, – элегантные дамы и благородные господа – собрались у окон. Дамы, поигрывая веерами, держали наготове нюхательную соль на случай обморока. В полчетвертого грандиозное зрелище началось. В центре площади был сооружен помост, на котором и собирался встретить смерть Дамьен. Вместе с ним на помост поднялись палач со своими подручными и два отца-исповедника. Но этот громадный человек не выдал своего страха, а лишь выразил желание поскорее умереть.

Шесть помощников палача приковали его тело железными обручами и цепями к доскам, чтобы он не мог даже пошевелиться. Потом его руку стали медленно выжигать серой, пока Дамьен не издал ужасный вопль. Было заметно, что, пока горела его рука, волосы у него стояли дыбом. После этого с его рук, ног и груди раскаленными докрасна крючьями были содраны большие куски живой плоти. В свежие раны налили жидкого свинца и кипящего масла. Весь воздух на площади был отравлен запахом жженой плоти. Потом вокруг его предплечий, бедер, запястий и лодыжек были обвязаны крепкие веревки, в которые впрягли четырех сильных лошадей, по одной у каждого угла помоста. Взивался кнут, и лошади рвались вперед. Предполагалось, что они разорвут несчастного на части. Целый час лошадей пришпоривали и стегали, но им никак не удавалось оторвать хотя бы одну ногу или руку. Удары кнута и крики палачей заглушались душераздирающими воплями человека, испытывавшего страшные мучения.

Добавили еще лошадей, и их всех стегали кнутом. Крики Дамьена переросли в безумный рев. Наконец, палачи получили разрешение судей, присутствовавших на казни, раздробить преступнику суставы, чтобы облегчить работу лошадям. Дамьен приподнял голову, чтобы посмотреть, что с ним делают, но не издал ни звука, пока ему дробили суставы. Он повернул лицо к распятию, которое держали возле него, и поцеловал его, а два священника в это время призывали его покаяться. Потом на лошадей опять обрушились удары кнута, и через полтора часа после начала казни они, наконец, смогли оторвать его левую ногу.

Люди на площади и аристократы в окнах захлопали в ладони. Казнь продолжалась...

Когда была оторвана правая нога, Дамьен начал бешено кричать. Ему раздробили плечевые суставы, и кнут опять взвился в воздух. Когда отделилась правая рука, крики несчастного стали слабеть. Его голова начала клониться назад, но лишь только когда была оторвана правая рука, она поникла полностью. На помосте остался пульсирующий обрубок с головой, волосы на которой побелели. Но эта голова и тело все еще жили.

С головы Дамьена остригли волосы и собрали вместе все его члены. К нему опять подошли отцы. Анри Самсон, главный палач, тем не менее, удержал их, говоря, что Дамьен уже умер. Тогда верили, что преступники отказывались от отпущения грехов перед смертью, потому что их тела продолжали дергаться, а нижняя челюсть двигалась, как бы говоря что-то. Это тело все еще дышало: его глаза скользили взглядом по толпе.

То, что осталось от этого человека, было сожжено на костре, а пепел – развеян по ветру.

Таким был конец несчастного, перенесшего самые страшные мучения, какие только существовали на земле, и произошло это в Париже на моих глазах, как и на глазах многих тысяч людей, включая самых красивых и благородных женщин Франции, собравшихся у окон».

С содроганием посмотрел я на стоявшую в окне леди и вдруг ясно понял: каждый вечер упивалась она видом изуродованного тела, сладкой музыкой звучали в ее ушах вопли несчастного, а день был лишь прелюдией к этому зрелищу, проносившемуся перед ее мысленным взором и захватившему все ее существо. И так будет всегда.

Разве удивительно, господа, – заключил Бринкен, – что с того вечера я всегда стал испытывать некоторый страх перед женщинами, у которых есть чувства, душа, воображение? И в особенности, перед англичанками?

